



АЛЕКСЕЙ ЕРЕМИН

ЛИРИКА

ОДНООБРАЗНЫЕ РАССКАЗЫ
О ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ
ИЗ ЖИЗНИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Алексей Еремин

**Лирика. Однообразные
рассказы о типичных ситуациях
из жизни обычных людей**

«Издательские решения»

Еремин А.

Лирика. Однообразные рассказы о типичных ситуациях из жизни обычных людей / А. Еремин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-740376-8

Сборник из тринадцати однообразных рассказов о типичных ситуациях из жизни обычных людей. Серая современность без захватывающих приключений и ярких героев. Сборник включает ранее отдельно опубликованные рассказы «Гравюра» и «Провинциалка».

ISBN 978-5-44-740376-8

© Еремин А.
© Издательские решения

Содержание

Настенька	6
Иллюстратор	13
ГЛАВА 1	13
ГЛАВА 2	14
ГЛАВА 3	15
ГЛАВА 4	17
ГЛАВА 5	19
ГЛАВА 6	21
ГЛАВА 7	22
ГЛАВА 8	23
Возвращение	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Лирика

Однообразные рассказы о типичных ситуациях из жизни обычных людей

Алексей Еремин

© Алексей Еремин, 2023

ISBN 978-5-4474-0376-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Настенька

Андрей женился удачно и случайно. Девушка, с которой встречались, расставались, в последнее страстное примирение забеременела и вскоре стала женой. Великодушные взаимного прощения, пора жениться, беременность и новое понимание пустого однообразия жизни, которое может смениться новыми переживаниями и новым смыслом соединились в брак. Волшебно, как мечталось, один за другим родились девочка и мальчик.

Но главное, супружество, вернее супруга, направила его большую слепую силу. Он строил и крепил семью, основой которой была жена. С её веры и смелости он решился начать своё дело. С её поддержкой он преуспел. За десятилетие согласия и труда они сотворили красивую семью. Жена вела дом, занималась детьми. Он много работал и предприятие начало приносить значительный доход, а со временем перестало требовать его неизменного участия. Он стал больше внимания уделять семье, а иногда, скучая, флиртовал с молоденькими девочками на сайте знакомств.

Поначалу он исключительно переписывался, развлекаясь то поучениями от юных дев о ценностях семьи, то их готовностью продаться. Не сразу, где-то через год он первый раз встретился наяву. После встречался ещё и ещё, чтобы подсмотреть молодость, сводить в ресторан, поболтать, а главное, изучить, какой вскоре станет дочь, с кем будет сын. Молоденькие девочки были забавны, но не нравились, и он никогда даже всерьёз не думал изменить жене. Все это было как познавательное путешествие – жить здесь он не собирался.

В один день он выбрал фотографию с милым лицом, представил плотное крепкое тело, скрытое одеждой, но всё же написал, как всегда откровенно, что он женатый мужчина ищет девушку для общения, и их многое объединяет. Как почти все она переспросила, что же их объединяет. Андрей, присмотревшись повнимательней к фигуре, и не желая общаться с полненькой, написал «любовь к Магритту», – а поскольку она точно не знает кто такой Магритт, то отвечать не станет, прозвав про себя ненормальным, что и было нужно. Однако она написала, что если речь о Рене Магритте, то несколько картин ей нравится. Удивленный, он ответил, что хочет встретиться с такой красивой и умной девушкой. Ему ответили, что знание художника Магритта конечно очень весомое, но вряд ли достаточное основание для встречи и хотелось бы узнать друг друга чуть лучше. Андрей усмехнулся и искренне написал, что рад знакомству и спросил, отчего она здесь. Не сразу, на второй день переписки она ответила, что живёт с мужчиной 35 лет и устала от неизвестности и какой-то бесперспективности этих отношений и раздумывает, чтобы уйти. Андрей спровоцировал её, предложив устроить её жизнь, снять квартиру, как только она решится. Однако она написала, что не видит смысла в том, чтобы переходить от одной зависимости к другой.

Ответ очень понравился Андрею.

На выходных общение прервалось; Андрей с семьей уехал в путешествие по старинным городкам, а вернувшись узнал, что она ушла жить к дяде. Они условились встретиться, однако всю неделю он был занят простудой сына. Но они много переписывались. Она рассказывала, что оставленный мужчина звонит, зовёт её обратно, она не хочет возвращаться. Андрей поддерживал её, но не в том, чтобы она навсегда ушла от того, кого он внутренне воспринял как соперника, а чтоб не поддавалась на уговоры, а вернулась только в новые отношения, которые бы её устроили.

А при встрече Андрей увидел, что она не полненькая. И лицо у неё не миленькое. Оказалось – Настя красавица. И мужчины замедляют шаг, когда идут ей навстречу, останавливаются и оборачиваются, чтоб увидеть, как она уходит от них.

Они стали видеться: ходили в рестораны, на выставки, в кино. Придумывая командировки, он уезжал с Настенькой на несколько дней, а после оставлял одну отдыхать. Андрей

сразу объяснил, что вряд ли сможет оставить семью, и пожалел, потому что она никогда бы не стала требовать этого. Он часто говорил ей, что он не тот, кто ей нужен, не тот, с кем будет легко, но он сделает всё, чтобы ей никогда не было с ним скучно, и он тот, кого она никогда не забудет. Он повторял, что она и может и должна искать любовь, и как только ей встретится кто-то, пусть она скажет, он сразу уйдёт.

Он снял квартиру, где она жила, а Андрей приходил к ней, как домой. Они ездили вдвоём на его заброшенную глухую дачу (которую не любила его супруга из-за отсутствия удобств, отдалённости, соседства с большим лесом) и проживали там выходные. Так продолжалось дольше, чем он мог представить, почти 4 года. На каждую годовщину их жизни он устраивал небольшое торжество, тщательно подбирал подарок, она готовила его любимую утку с яблоками, но сидя с Настенькой, нарядной и прекрасной, за одним столом, Андрей предчувствовал, что это последний их год. Но отношения длились, пока однажды она не сказала, что встретила человека, который её любит, а ей нравится, с которым, может быть, она смогла бы начать встречаться. Андрей ответил, что она должна жить своей жизнью, спросил, нужна ли помощь на первое время. Она, конечно, отказалась.

В последний их день на пороге их квартиры они в последний раз поцеловались, он поднял сумку с вещами и ушёл, услышав на площадке между этажами, как защёлкнулся замок в её жизнь.

Он спускался по лестнице, словно погружался в воду – пустота заполняла его.

По инерции Настенька жила в нём. Андрей вспоминал её каждый день. Он снова и снова включал телефон – не пропустил ли звонок – и жена спрашивала: «Ты что такой, кто-то должен звонить?» Он лгал про большой заказ... Он волновался каждому телефонному вызову с неизвестного номера, в надежде – она! Он проверял секретный почтовый ящик, куда писала только она – на работе, дома, за рулём, за едой, перед сном, уединившись в туалете, стоя под душем – пятьдесят, сто раз в день – не прислала ли Настя хоть слово, просто узнать, как он живёт, или попросить что-то, что, может быть, осталось у него, а ей нужно.

Честно решив помочь Настеньке создать семью, Андрей не бывал там, где они могли бы встретиться, не звонил, не писал, даже когда искренне верил, что несколько общих приятельских фраз, просто про её жизнь, не смогут ей никак помешать, но даже тогда – не писал, не звонил, не приезжал подсмотреть за ней. Он верил, что мысли о ней – отрубленная голова рыбины, которая хлопает жабрами, раскрывает рот, но уже мертва, как мертва в прошлом Настенька, а пустота внутри – только привычка к жизни с ней, животные рефлекс мёртвой уже головы.

Он верил в забвение во времени.

Ему казалось, перетерпев несколько дней, он заживёт спокойнее без неё, без волнения быть пойманным супругой на подлости. Но жизнь, словно автомобиль с остановившимся на скорости мотором, вдруг заглохла и покатила медленнее, медленнее. Как он не старался выглядеть привычно в привычной жизни, жена обеспокоенно спрашивала: «Что случилось, ты какой-то утомлённый», дети удивлялись: «Папа, отчего ты грустный», – а он не знал что ответить, пока не придумал, что переутомился и на праздники поедет на заброшенную дачу.

Он не вспоминал её, хотя там она была везде, не думал звонить, не забывался с книгой, не анализировал их отношения, не убеждал себя забыть её или, наоборот, навестить.

Андрей готовил, ел, ходил по лесу, лежал на кровати и смотрел в потолок, сползал на пол и лежал на полу, бессмысленно долго рассматривая узор половой доски, сидел в кресле, глядя на огонь в печи, мотыгой полонил траву под кустами на участке, спал.

Через пять дней он вернулся и выглядеть для всех как прежде ему удавалось лучше.

Прежде он часто спрашивал себя, но ни разу не спросил её, любит ли она? Потому что спросила бы в ответ, а он не смог бы ей ответить. Сейчас, когда она всё ещё была здесь, рядом, довольно позвонить, встретить после работы, якобы случайно подкараулить у метро, сейчас он

решился бы, потому что мог честно сказать – люблю. Теперь Андрей точно знал, что любит, чего не знал, не потеряв её. Но она ушла. У неё новая жизнь. Мешать ей – невозможно.

Иногда само собой решалось прочно, что теперь, когда он познал любовь к ней, можно оставить семью, детей, чтобы быть с Настенькой каждый день, ложиться с ней в одну постель каждый вечер и просыпаться рядом каждое утро, вместе кушать, вместе готовить, вместе мыть посуду, вместе проживать жизнь.

А после решение разъедала тоска поражения – как оставить детей; если она пробует жить с кем-то, как можно ей мешать???

Он верил в забвение во времени. Но через год Андрей нанял сыщика, чтобы он пересказал её жизнь. Ему было важно знать, что она счастлива, что он измучен не напрасно.

Но Настя исчезла: не жила в их квартире, не работала на прежнем месте. Прошло несколько месяцев, прежде чем её нашли. Она была хорошо устроена, встречалась с приятным, как с болью подумал Андрей, даже красивым молодым человеком. Прочитав отчёт, увидев её на фотографии, – похудевшую, усталую, наверное от новой работы, новой любви, новой жизни, без него, он успокоился. Разумом он понял, как верно поступил. Но сердце мучилось под пыткой, когда на фото она улыбалась ласково и печально кому-то, другому, но не ему! Он перечитывал снова и снова слова отчёта, но живее слов он видел её на фото одну, с подружками, прекрасную и счастливую.

Ещё какое-то время Андрей мучился неизвестностью, а после решил, что не в силах жить без неё. Теперь каждый понедельник на электронную почту приходило краткое сообщение о её днях. Ежемесячный отчёт с фотографиями доставлялся курьером, как глянцевого журнала про её жизнь.

Он справлял с ней все дни рождения, он встречал её после рабочего дня, он ходил с ней в кино, гулял часами наедине по городу, он катался с ней на велосипеде летом, зимой на лыжах, он ждал её у подъезда и ходил с ней в поликлинику, когда она простудилась, провожал её в аэропорту, он купил с ней новую машину, взамен той, которую они купили вместе, он был на её свадьбе, где, наконец, познакомился с родителями, с большим животом, в жару он провожал её до женской консультации и переживал, как неловко она спускалась по ступенькам, он лёг с ней в больницу на сохранение беременности и навещал её там каждый день, он встречал её из роддома с младенцем, он гулял с ней в парке с коляской, он ездил с ними по врачам, он уезжал в июне с малышом за город, он стал бегать с ней по утрам, он ждал с ней второго ребенка и плакал, как плакала она, когда старший подросший сынок подарил ей и новорожденной сестрёнке цветы, он читал с ней на скамье в парке книги, он водил детей в детский сад, он вышел с ней на новую работу, и первого сентября, взволнованный, как она, он отвел её сына в первый класс.

Он внимательно читал, смотрел, но больше мучительно вспоминал. Вспоминал, вспоминал все подробности их встреч, их жизни. Как-то она сказала, что ему нужно писать мемуары, потому что он ясно понимает суть событий и может подобрать точные слова, чтобы описать их. Он сочинял мемуары в своём сердце, восстанавливал их время, и оказалось, четыре года общей жизни Андрея и Насти, – целая отдельная жизнь, которая будет длиться всегда, которая никогда не закончится.

Он уезжал на заброшенную дачу, куда не любила ездить супруга, где они так счастливы были с Настенькой, и оставался наедине с её жизнью. Там, в одиночестве, на жарком солнце-пёке крыльца, в грохочущей под дождём пустой комнате мансарды с одинокой кроватью в центре, где они любили лежать под одеялом и слушать дождь, холодной зимой у печки, в огромном кресле, где они тесно устраивались, ворочались, толкались, которое смеялись, падая на колени и хохоча, она помогала ему двигать то ближе к огню печки, то дальше, когда жарило нестерпимо, где они любили тесно сесть рядом и смотреть, как разваливаются раскалённые поленья и согревать в ладонях бокалы вина, Андрей вспоминал.

С первой недели общения странное мучение от её встречи с бывшим. Ведь она ничего для него не значила, просто красивая умная девочка. Но упрекая себя в неразумности, он всё же думал о них, он смеялся над собой, но сдерживался, чтобы не позвонить, терпел, чтобы не мешать ей, и ждал следующего дня, чтобы скорее узнать, чем закончился ужин, как тот уговаривал её вернуться, и главное, на что она решается?

Они лежали в одинокой кровати в пустой мансарде и читали. Читали долго, час, полтора. Она спустилась вниз и принесла облепиховый чай с домашним овсяным печеньем. Он пил, читал, а потом отложил книгу и сказал, глядя перед собой на посиневшие щелистые доски потолка: «Ты моё счастье». Она закрыла книгу и положила голову ему на грудь, обняв рукой его толстый живот. Он хотел что-то сказать, но ничего не смог, только подумал, что лучше она не могла бы сделать.

Он сидел на совещании во главе длинного полированного стола, в котором отражались белые рубашки его сотрудников, слушал, принимал какие-то важные тогда решения, но желание Настеньки накрывало его, как дурманящий туман. Андрей был сосредоточен на работе, но в секунды отвлечения возбуждение становилось всё сильнее. Он спросил её в электронном письме, чувствует ли она тоже, не ожидая ответа от её закрытости, и через мгновение прочитал, что она сильно, как никогда хочет сейчас быть с ним. Андрей написал, что это чувство другого, оно не может быть пустым, оно волшебное. Волшебное и мучительно, написала она.

Она опаздывала или он приехал раньше – Андрей ждал в машине, не отвечал на пустые звонки телефона, не смотрел на прохожих, не думал о ней, не вспоминал её, не представлял, как она даст себя поцеловать, если расстроена, или поцелует сама, по настроению, ни её смех ни улыбку, ничего из прошлого или будущего – он тихо сидел и замороженный, прислушивался к тихой радости от того, что она скоро, сейчас, – появится.

Как красивее, моложе, но главное спортивнее, мускулистее оказался, тот с кем она рассталась. Как стали неприятны его собственные животик, толстые подушечки боков, худосочные руки. Он стал ходить в тренажёрный зал, чтобы подтянуть своё тело к её молодости. Часами он потел в спортивном клубе, наматывая километры на велотренажере, нависнув головой над рулём, и ощущал, как по спине стекает в спортивные шорты струйка пота, как заставлял себя снова и снова поднимать обессиленными руками гантели, как отжимал штангу, которая, казалось, вот-вот придавит его тяжестью. И как в зеркале, глядя на своё всё равно пузатенькое, после всех усилий, тело, он чувствовал сильную, до слёз в глазах благодарность к Настеньке, что она не вернулась к тому, прошлому, свободному от семейных обязательств, несравнимо более богатому, даже красивому. Её решение не возвращаться, несмотря на все уговоры, и радовало его и вносило тревогу, что она передумает, рано или поздно, и несла радость, что они вместе.

Как он опаздывал к ней на обеденный перерыв, бросил машину и поехал на метро. Пошёл дождь, её не отпускали с работы, и бедным студентом он час, два часа гулял, гулял под дождём без зонта. Ноги в туфлях из кожаной сеточки промокли насквозь, прилипла рубашка к спине, он снова и снова заводил между лопаток руку и отщипывал липкую ткань. Но при этом, ему было хорошо. Он не чувствовал никакого раздражения к ней, злости к её руководству или недовольства густым дождём. Как казалось ему теперь, он даже был счастлив. И её лицо, вспыхнувшее удивлением и жалостью, как к маленькому промокнушему щенку, и её поцелуй, смелый, когда она прижалась к его мокрой одежде и её светлое бежевое платье покрылось влажными пятнами, и проявился на мокрой ткани зелёный мелкий горошек лифа правой груди, и проступили сквозь потемневшую воздушную ткань на животе тонкие светлые трусики.

Она любила подарки, она любила говорить о том, что ей хочется иметь и замолкать в ожидании. Никогда не просить, быть гордой, но ждать, когда преподнесут. Не жаловаться, но упорно возвращаться к своему пожеланию. Андрей понимал её жадность взять хоть что-то от их отношений. Иногда ему было неприятно её стремление получить с него, но чаще, почти

всегда, – он был рад подарить ей желание, увидеть её радость и благодарность. Покупая с женой или детьми, он постоянно искал вещи ей; не задумывал покупку – просто Настя всегда была в нём и порадовать её было тоже, что и родных. Он представлял как её стройные ножки будут в этом платье, как грудь будет темнеть загаром из глубоко выреза белоснежной блузки, как вознесётся её тело на высоких каблуках. А когда она примеряла на себе одежду, он любовался, как меняется образ её красоты, словно ювелир, преломлявший свет сквозь грани бриллианта. Даже через несколько лет случайно встреченные такие же или похожие вещи приносили ему, словно продавцы бесплатный комплимент, тихую радость и воспоминания, воспоминания.

Как часто от того, что ему нужно уезжать, она становилась задумчива. Она отводила глаза, чтобы он не видел её душу. Он брал её за руку, она отдавала её, но глаза, её красивые зелёные глаза с крупными близорукими зрачками смотрели мимо. Вначале он пробовал расшевелить её или уловить взгляд, но она убегала вдаль, а если он становился навязчив, тихо просила: «Не надо», – и он сразу уступал. Он видел, а может быть ошибался, или ему вспоминалось так сейчас, но он чётко помнил, даже когда не смотрел на неё, своё ощущение, что её глаза переполнены слезами.

Её чистая радость, открытая улыбка, незащитно счастливые глаза от того, что он смог приехать к ней на обед и час они будут вместе.

Удивительное чувство, когда они вместе, рядом, друг для друга готовили; собирали бутерброды или творили роскошный пир из семи блюд, всегда было оно, пусть иллюзорное, но живое реальностью ощущение, что они – семья. Андрей никогда не говорил Настеньке об этом ощущении, но знал, что она чувствует то же, что и он.

А мучительное чувство, он не считал его ревностью, так, скорее нервической реакцией, но переживал его каждый раз, когда она встречалась с каким-то мальчиком-приятелем. Настя играла с ним, искала новые отношения, старалась добудиться его любви или просто жила и встречалась со знакомыми ребятами? Чтобы ни было, но он не спал, ворочался в жаркой постели. От его нервного возбуждения просыпалась снова и снова жена. Он знал, знал Настеньку, знал, что это только разговоры, смех, что ничего, даже взять себя за руку, даже дружеского поцелуя в щёку, знал, как робеют мужчины от её строгой красоты, знал, знал, знал, но... если этот смех, эти разговоры это начало нового, нового, где уже нет ему места? От этой мысли Андрей разом успокаивался. Он говорил себе, пусть она встретит счастье, он её легко отпустит, не станет мешать ей жить. Он закрывал глаза, поворачивался на бок, нисходила дрёма, он зевал, улыбался, предвкушая забвение... вздрагивал, резко вставал и шёл пить воду, потом умываться, потом стоять у окна от мысли, что она не дома, где-то, и он не знает где и с кем.

А бывало, она встречалась с кем-то, или допоздна работала, или поздно возвращалась от родителей, или не писала ему писем на почту, как обещала, а он не мог при жене и детях позвонить ей, – тогда наступала апатия. Он сидел перед компьютером, проверял, проверял каждую минуту страницу новых сообщений. Ничего не было час, два, три, за окном уже темнело, семья ложилась спать, он укладывал детей и обнимал их особенно нежно, целовал так, словно они последнее, что у него осталось. А потом говорил, что надо ещё немного поработать и слушал тоскливые мелодии, равнодушно просматривал сайты, снова почту, снова страницы, совсем ему не интересные. Уже уснула супруга и можно было бы осторожно позвонить или отправить сообщение, но ему становилось уже всё равно. Он просто сидел часами перед компьютером и негромко слушал, чтобы никого не разбудить, грустную музыку.

Совершенное счастье. Когда она села к нему в машину. Он потянулся к ней, они поцеловались приветственно, после резче и сильнее губами, после втягиваясь в поцелуй всем телом, всем сознанием, и словно издали слышали медленную мелодию из динамиков и ощущали тепло закатных солнечных лучей на своих лицах...

Иногда Андрей глушил, как в автомобиле, вечный двигатель насущных дел и бродил, где они были вместе. Проходил мимо кофейни, где пили кофе, сидя квадратным столиком на двоих, белого мрамора с розовыми прожилками, шёл мимо почты, где из-за стекла видел её спешащую, со строгим лицом, от того что он ждёт, а её задержали, видел турецкий рестораник рядом с её прежним местом работы, где они часто ужинали, разговаривали, а турки официанты снова и снова проходя, засматривались на неё, а после, прощаясь, оглаживали вверх-вниз взглядами её тело, сидел на скамье перед белоснежной церковью, где в начале их встреч звонил её бывший, а Андрей стоял в сторонке, чтобы не подслушать, но мысль, что она сейчас развернётся и уйдет, снова и снова возвращалась. Было и мучительно бродить по их местам и хорошо; улыбка боли.

Он помнил, каждую субботу утром они идут гулять. Андрей сидел в машине и ждал. Они спускались к нему по пустому переулку. Он держал её за руку, их за руки держали маленькие дети. Они, сдерживая набегающий шаг, молчали, но Андрей, первой же свободной мыслью ощутил, что навстречу идёт счастливая семья. Невольно представил, что он теперешний, оплывший, как налитанный водой кусок мыла, идёт рядом с ней. И закрыл от стыда лицо ладонями.

А по дороге домой душа ныла всё время, будто зубная боль. Вдруг неоткуда он понял, что её муж, это не тот, к которому она уходила от него. Оба темноволосы, но тот с её слов был высок, мускулист, а муж ниже среднего роста, скорее худой. Андрей тотчас позвонил сыщику, чтобы узнать, как она прожила те полтора года без него, не было ли ей плохо и трудно, не обидел ли её тот?

Жена сказала, что новорождённой внучке нужен свежий воздух, что она поедет привести в порядок его заброшенную дачу. Испуганный, что огромный архив её жизни, заполнивший стеллажи на даче, откроется жене болью, он поехал.

Два последних отчёта он взял с собой, чтобы прочитать и сжечь вместе с архивом. Два последних отчета. Как она прожила последний месяц. Как она прожила первый год после расставания.

Из сухих отрывистых фраз, какими написаны бездушные хроники, он узнал, что Настенька прожила в их квартире только неделю, хотя он оплатил ей месяц вперёд, и переехала в другой район. Со слов её подруги, подтверждаемых косвенными данными, она жила одиноко, к ней никто не ходил. На выходные уезжала к родителям. Через полгода поменяла место работы и продолжала жить одна. Сведения о существовании мужчины в её жизни, ни темноволосого ни какого-либо иного, не нашли подтверждения. Глаза Андрея наполнились слезами и заплакали сами, неудержимо, как у ребёнка, который рыдает, сам не знает отчего, но не может остановиться. Только через полтора года появился этот, её муж. И когда он получил первый отчет, он только начал за ней ухаживать. Андрей разом понял, как мучительно она жила те его страшные полтора года и закрыл лицо руками, будто хотел спрятаться. Сердце схватил лапой злой зверёк. Скрюченный болью, он сидел сгорбившись, как старик. Опираясь на поручни кресла, как на костыли, встал, чувствуя, как коготочки сильнее впиваются в сердечную мышцу, и с затуманенными слезами глазами, как старческой катарактой, он медленно зашаркал к двери, придерживаясь расправленными в стороны руками, словно крыльями, о гладкие доски в узком коридоре. Толстым стариком, сгорбленным непосильной ношей он перетаскал все отчёты на кострище, поджёг и лёг на траву. Сердце отпустило; оно ровно болело. Повернув голову он увидел, как бумажная гора ярко горит оранжевым пламенем, в которое вплетаются дымными лентами её фотографии. Он смотрел в огонь, который с порывами ветра кидался в лицо облаками жара, и видел в пламени её такой, какая она сейчас, – постаревшей, повзрослевшей, не молоденькой девушкой, которой она сохранилась в памяти, и этот образ красивой женщины, матери, мучил его сильнее, чем родная ему, прекрасная молодостью Настенька.

В машине он страшно устал. Но пришло уважение к себе, как привычно приходило оно на работе, когда преодолев непреодолимые, казалось, препятствия, он разрешал трудности в делах. Он неспешно утомлённо вёл машину, удовлетворённо понимая, что теперь дочь, внучка, жена смогут спокойно провести на даче лето и никакие неожиданные открытия, незаслуженно обидные и болезненные, не нарушат их спокойствия. Затем стала всплывать снова и снова фраза из отчёта: «По проверенным данным в течение полутора лет от даты расследования объект не имел ни мимолётных ни длительных связей с мужчинами. По точным данным (откровения близкой подруги, фрагменты архивной переписки (выдержки из электронных писем прилагаются, см приложение №2) до даты начала поиска у Ан. была длительная мучительная связь с женатым мужчиной. Со слов подруги (далее прямая цитата, при необходимости аудиозапись может быть предоставлена дополнительно) „...у Насти была великая любовь с мужчиной, который не хотел уходить из семьи. Даже расставшись, она любила его, мучилась, ждала и не могла ни с кем встречаться“. При желании возможно установить личность вышеупомянутого лица».

Великая любовь, расставшись – ждала, не могла встречаться. Каждая буква этой фразы, словно маленький клещ своими крючками впивалась в сердце. И становилось ещё больней, когда он видел на лобовом стекле себя – постаревшего, располневшего, идущего с одышкой и утирающего платком лоб и её – взрослую, с мужем, с детьми, спускающуюся стройными ножками как всегда в туфельках на высоком каблуке по переулку, и понимал, какая же она сейчас, как тогда, уже невозможно давно, много пустых лет назад, какая она ладная. Самая ладная.

Автомобиль поехал медленнее, медленнее, словно сбрасывал скорость перед светофором, потом очень неспешно, как в замедленной съёмке, наискосок пересёк встречную полосу и осторожно съехал в глубокий кювет заросший травой. Мёртвое лицо Андрея сильно разбилось о руль, руки протянулись к лобовому стеклу, словно он хотел через него куда-то вылезть.

Иллюстратор

ГЛАВА 1

Холодный ветер продувал тонкое шерстяное пальто, но Пётр Игоревич Стравин считал, что он очень элегантен в нём, потому одел до сезона.

На хруст повернул голову; в глубине детской площадки на скамье сидел, словно разорванный плюшевый медвежонок, человек в толстой меховой одежде, и ногой в чёрном валенке топтал алюминиевую банку. Солнечный свет падал сбоку, набросав на песчаной площадке, словно пастельным карандашом, угловатые тени ветвей. В солнечном луче тупое лицо, охваченное яростью к пустой банке алкогольного коктейля. На отсмотренной вчера фотографии с этим же лицом охранник колотил штыком пленного, жуком лежавшего на спине, поджавшего в ужасе конечности.

Стравин хлопнул по бедру. Но это не был уже зимний duffle coat с огромными накладными карманами, где помещался альбом, а лишь тонкое итальянское пальто с узкими врезными, куда тесно влезали его большие кисти.

Секунду Пётр всматривался в фигуру на площадке, а после почти побежал в квартиру.

Сначала, пока видел перед собой, сделал несколько зарисовок. Было важно передать сонный, мирный вид пустых качелей, горки и на контрасте прямо по центру листа животного лицо. Потом уже, всматриваясь в наброски, подумал, что такой образ хорошо бы лёг в иллюстрации окопной правды романа «Прокляты и убиты. Плацдарм», но эта работа давно сдана.

ГЛАВА 2

Пётр Игоревич сидел в приёмной на низком диванчике, так что колени высоко торчали над стеклянным столиком, покрытым большим бумажным конвертом. В конверте лежал один из его лучших пейзажей в аккуратной рамке под тончайшим стеклом, совсем не искажающим восприятие, – Залман Моисеевич издавал уже второй альбом его гравюр, совершенно независимых от его книжных иллюстраций, обещал устроить персональную выставку в своей галерее, да и вообще хорошо к нему относился, и Стравин старался хоть как-то отблагодарить его.

На таком же диванчике напротив сидели юноша и девушка. Ей заметно трудно было молчать, – она несколько раз меняла позу, раскрывала и закрывала сумочку, пока наконец не спросила Стравина, то же ли он агент. Стравин ответил, что художник. В ответ на фамилию она сказала Петру Игоревичу, что о нём слышать ей не приходилось, но она агент самого Кошеверова, модного художника. Пётр Игоревич никогда о нём не слышал. Девушка снисходительно пояснила, что полотна Кошеверова скупают коллекционеры со всего мира, вот и Залман Моисеевич заинтересовался. Потеряв интерес к Стравину она обратилась к молодому человеку. Тот продавал дарование Линдта. Вот его Стравин знал. Он преподавал ему классический рисунок и ставил тройки; Линдт ленился, много воображал, и вообще, по мнению Петра Игоревича, которое он держал при себе, Линдт занимался не своим делом, ему стоило бы устроиться таким же агентом или импресарио. Девушка тоже знала Линдта и с восторгом заговорила о его работе «Предчувствие нового средневековья в преломлённом свете при ярких тенях на основе электронной матрицы».

Пока Залман Моисеевич принимал агентов, Пётр Игоревич, привыкший размышлять набросками, рисовал и рисовал в блокноте, и когда, наконец, его пригласили в кабинет, у Стравина уже было несколько изображений элегантно одетого мужчины его лет с тоской в глазах.

Как выяснилось, Залман Моисеевич уже страшно опаздывал, потратив время на «этих настырных агентиков бездарей», потому сунул ему пакет с авторскими копиями альбома гравюр и толстый конверт с гонораром. На вопрос сколько в нём, только поморщился, махнул рукой «всё нормально там» и, подхватив под локоть, проводил Стравина до двери, извиняясь снова и снова, так что Пётр Игоревич только успел передать ему пейзаж в рамке, которую он так тщательно выбирал, как оказался уже в приёмной.

В туалете, нервно передёргивая плечами, словно ему было тесно в пиджаке, Стравин пересчитал купюры. Денег было столько, как если бы ему вместо полноценного обеда принесли только суп.

Зато в автобусе было пусто, на шероховатый лист светило весеннее солнце, на бумаге тучный человек в кресле удачно получался и мешком с богатством стяжателя.

ГЛАВА 3

С утра Стравин поднялся рано и до завтрака с удовольствием претворил этот эскиз в большой портрет сангиной на коричневой бумаге.

Ему хотелось сохранить оставшееся от работы вдохновение и он включил «Маленькую ночную серенаду». Под музыку Моцарта Пётр ел овсянку, пил чай с шоколадкой. После сел за компьютер, – хотелось найти в интернет-магазине на осень новое пальто Crombie. Но распродаж не было, и вещи, которые уже так хорошо сидели на нём, испарились...

Позвонила Майя; откуда-то она уже знала о печати альбома, спрашивала, одолжит ли он его посмотреть. Стравин, конечно, согласился. Ведь это была Майя, с которой они проучились вместе столько лет, которой он многим обязан и сейчас; как хранительница отдела гравюры и графики она всегда давала ему доступ к фондам музея, всегда извещала о новых поступлениях или любопытных выставках.

Жена, зная как ему важен сегодняшний день, задержалась дома и теперь помогала, подавая тщательно подобранную одежду. Он принимал бережно, как хрупкие пластины весеннего льда, идеально выглаженные брюки, рубашку, галстук-бабочку, носовой платок.

В сумку Пётр Игоревич положил альбом гравюр и папку с эскизами, которые он набросал, вдохновлённый самой возможностью заказа.

До назначенной встречи оставалось минут сорок. Он гулял, с радостным чувством вспоминая, как хорошо легла сангина на коричневую бумагу, и думал, думал, думал.

Что сказать, он жаждал этот заказ!

Мысля откровенно, он сделал бы его бесплатно!

Лучшие рассказы Юрия Казакова были вещью нетленной, а издательство хотело ещё и литографические листы как иллюстрации. Снова заняться литографией, снова чувствовать мягкую структуру полированного камня, впитывающего краску. Как хорошо! Но нужно быть твёрдым, равнодушным, чтобы получить достойные деньги за работу. Тем более ценную от того, сколь дешёв оказался набитый до солидной полноты вчерашний конверт от Залмана Моисеевича.

Он ловил на себе взгляды старушек, женщин, мужчин, детей и наслаждался тем, как он хорош в этой шляпе цвета пальто, в галстук-бабочке видном в треугольном вырезе, в тёмно-коричневых брюках и ботинках, сливавшихся в единое целое. Сам же он больше смотрел на весеннее небо с белыми облаками, – чувствовалось в нём что-то, какое-то особое настроение, но который день оно ускользало, неуловимое.

На привычном месте перед перекрёстком перекрестился на церковь, повернулся вправо, перекрестился на видные над металлической крышей золотые кресты собора.

Дальше шёл бездумно, в нервном напряжении, время от времени уговаривая себя не соглашаться сразу на их цену, сдерживать нервическое подёргивание плечами, больше молчать.

Войдя же в кабинет, Пётр Игоревич ощутил, как Бог укрепил его. С мыслью о Господе Стравин стал совершенно спокоен, словно вознёсся над столом переговоров. Он вспомнил, что сделал сегодня утром сангиной на коричневой бумаге и решил, что согласится, если заплатят как немцы – 70 тысяч за лист и двойную цену за обложку с суперобложкой, тем более что хотели продавать и авторский тираж литографий отдельным альбомом, в дополнение к книге.

Он тут же нервно передёрнул плечами, перемножив цену на двенадцать, и задохнувшись от счастья, представил, как с женой поедет на море в Испанию, а оттуда на неделю в Лондон бродить по музеям и магазинам.

После того как обсудили условия и они попрощались, обещав подумать, оставался ещё час и Стравин зашёл в церковь Успения Пресвятой Богородицы на углу Сретенки и Рожде-

стенского бульвара. Молящихся было неожиданно много, хоть служба и не шла, но он пристроился с угла иконостаса и стал читать молитву, потом благодарить за помощь, потом просить прощения за грехи, за корысть, снова читал молитву, и как то не сразу, но душе стало так легко, как усталому телу после бани, укутанному в тёплую простыню.

ГЛАВА 4

Пётр Игоревич пришёл раньше, но она уже ждала его. Несмотря на ветреный день длинное красное пальто на Майе было распахнуто: потоки воздуха, как суетливые руки бесцеремонного любовника пролезали в разрез платья и открывали плотные ноги в телесного цвета чулках. Она чмокнула его в щёчку и аккуратно стёрла мизинцем следы помады, – Стравин видел близко-близко её ярко-угольные ресницы, тщательно подведённые редкие брови, в розовой пудре лицо и аккуратно покрашенные алые губы. Она посмотрела на его щёку, а потом прямо в глаза и долго не отводила взгляд, пока Стравин не улыбнулся и не спросил, неужели ввели роскошные платья униформой для музейных работников?

Майя молчала, он переспросил:

– Или только для красивых?

– Только для красивых, – рассмеялась Майя.

За столом она внимательно осмотрела строгий тёмно-серый кардиган Стравина из тонкой мериносовой шерсти, в треугольнике которого ярко-голубая рубашка и алый в узорах галстук-бабочка выглядели, как залитые солнцем цветочные натюрморты Коровина или Ван-Гога.

– Как всегда элегантен.

Стравин был доволен. Скрывая смущение, полез в сумку за альбомом. Майя, увидев обложку, спрятала обратно в пачку сигарету и отодвинула принесённую чашку чая на край стола.

Пётр Игоревич скучал, попивая чай и оглядываясь по сторонам. По изображению в камере телефона поправлял бабочку. Погрузив подбородок в тюльпан ладоней наблюдал, как Майя через толстые стёкла в алой пластиковой оправе, как в очках ювелира, почти касаясь носом листа, изучала гравюры, словно ищейка вынюхивала след, оставленный художником.

– Сухой иглой?

– Конечно.

– По цинку?

– Нет, я настоял на меди.

Майя снова опустила голову и двумя пальцами уцепив лист аккуратно перевернула его, как делала с шедеврами у себя в музейном хранилище. Она то отклоняла голову, словно отстранялась от человека с запахом изо рта, то приближала лицо, словно всматривалась в любимые глаза.

– Ну как, – спросил Стравин, закончив с чашкой чая.

– Да, да, да, – ответила Майя, подняв на него невидящие глаза, расплавленные толстыми стёклами, – и он снова видел её макушку разделённых пробором русых волос и удлинившийся нос.

Пришло в голову, что её можно шаржировать, вытянув лицо в мордочку таксы, придав черты детектива Мисс Марпл, которая всё пыталась что-то отыскать в романах Агаты Кристи. Пётр достал блокнот и стал рисовать быстро-быстро. Мелькнуло, что лучше вышло бы тушью, – передёрнув плечами он отогнал бесполезную мысль, – туши же не было под рукой. Получалось забавно, «надо шаржировать всех, выйдет остроумная серия», он недовольно дёрнул карандашом, словно выкрикнул ругательство, перевернул лист и начал новый рисунок, взглянув на неё. Майя изучала весенний пейзаж города, – дома, лужи, толпа на переходе, автобус, – обычный кадр, но ему казалось, что удалось в чёрных полосах на плотной бумаге передать воздух весны. Здесь как раз сначала был сделан эскиз тушью, и он, кажется, вышел живее.

– Петя, а выставка будет?

Стравин ответил, что планируется. Она попросила дать ей на время альбом, – он подарил насовсем. Майя, увидев в блокноте шаржи на неё, первый, перечёркнутый зигзагом, второй,

недоделанный, выпросила их себе на память, потребовав, чтобы Стравин под каждым подписался и проставил дату. Майя передала ему пригласительный на встречу выпускников, сказала, что из их круга будет Николай, специально прилетит из Сингапура, Лазарь, который недавно на биеннале современного искусства продал свою «Сельскую столовую» за двести тысяч долларов.

– Двести тысяч! – воскликнул Стравин. Оказалось, он был на выставке, видел инсталляцию и не смог ничего вразумительного сказать автору. Да и из всех работ Николая ему нравилась только одна, студенческий натюрморт, написанный гуашью, на котором крупная тыква была такая жизнерадостная, как хохочущий карапуз. Майя рассказывала Петру, как Николаю удалось уйти от псевдоклассической, вторичной живописи к созданию арт-объектов современного искусства.

Пётр Игоревич ответил, что арт-объект искусства звучит как дважды помасленная пустота, но в голове его пульсировало «двести тысяч», и как орлы в голубом небе, над ним парили, широко раскинув рукава, пальто и плащи Crombie. Особенно настойчиво было шерстяное пальто тёмно-синего «флотского» цвета: оно пикировало на него с высоты, замедлялось, зависало неподвижно и резко распахивалось крыльями бабочки, открывая атласную розовую подкладку.

Майя говорила, что сейчас инсталляциями, арт-объектами люди, которые по таланту не стоят рядом со Стравиным, зарабатывают миллионы. Он слушал и повторял про себя «двести тысяч» и думал, что отправился бы с женой в Лондон на месяц, остановился бы в центре, а не на убогой окраине, они пешком ходили бы в музеи и парки, там замечательные парки, а ещё, он бы заказал там два пальто, бежевое и синее, два плаща, ещё пару костюмов шерстяных, свободных, чтобы носить без галстука, один лёгкий льняной, летом в гости или в ресторан, ещё кардиган, а какая там обувь, как раз для русской осени можно прикупить прочные, но элегантные ботинки.

– Петя ты меня слышишь? Графика умирает, денег она не принесёт, это ясно. Она мало кому интересна, потому на ней не сделаешь имя, а дальше, в будущем, славы посмертной тоже не видать – графика будет только отмирать, как сухая ветвь искусства.

– Но ты же ею занимаешься.

– Я что, я да. Но я не художник.

– Ну а мне просто невыносимо не делать к чему призван. Или к чему чувствую призвание. Что в основе – одно, субъективно разделённое, а субъективное отношение – это ничто во Вселенной.

– Я так и думала, – кивнула ему Майя и отпила глоток холодного чая.

ГЛАВА 5

Субботним утром они с супругой пошли на раннюю службу. После завтрака пришли дочь с женихом. Он передал им для отца альбом гравюр и они втроём уехали по магазинам. Стравин пробовал читать, но не понимал смысл. Лежал, смотрел в потолок и уговаривал себя, что нет причин расстраиваться. Деньги на ближайшее время есть, от выставки Залман Моисеевич не отказывается. На ней представит не только гравюры из альбома, но и литографии и рисунки, что-то должно продаться.

Приедет Николай из Сингапура. Они учились на одном курсе, но Николай был на пару лет младше и Стравин привычно думал о нём сверху-вниз. Хотя теперь Николай был всемирно известный современный художник, звезда, а Стравин просто иллюстратор. Раньше Николай писал акварелью чудесные городские пейзажи, и один из них, подаренный Николаем «Детский сад на Знаменке», висел сейчас в коридоре и был очень хорош: с этим навалившимся массивом здания Министерства Обороны на уютный детский мирок и изящный особняк. Сейчас, наверное, забросил это, раскрашивает свои композиции да и всё. Однако двести тысяч долларов Лазарю. Ему стало стыдно думать о деньгах, когда так чудесно было сегодня на утренней службе, – ему всегда казалось, что первая служба самая чистая, самая одухотворённая.

Пётр Игоревич раскрыл альбом на мольберте колен, стал набрасывать то молящихся, то лица, то вид с переулка на апсиду храма, то отражения золотого креста на многооконном фасеточном глазу многоэтажки, но фигуры получались какие-то скучные, лица убогие, купольный крест, отразившийся нательными крестиками, навязчивым. Стравин вырывал листы и бросал их на пол, представляя, что за каждый ему на стол шлёпается тяжёлая пачка банкнот.

Ещё Линдт троечник.

Стараясь отвлечься, он включил ре-мажорный концерт для скрипки с оркестром Стравинского, – то, что было ему нужно сейчас – прекрасная музыка, но ещё и сверх: объективное видение своей жизни, от истинного внутреннего страдания, до столь же истинного снисходительного отстранения.

В альбоме Стравин нарисовал в левом нижнем углу, как поставил печати, нос к носу головы Чайковского и Стравинского, а посередине, крупнее, затылок к затылку, головы Баха и Моцарта, как камю. Справа стал набрасывать расчёт. «Денег наличных тысяч пятьдесят рублей», – он нарисовал 50 000 в виде монетки. «Деньги на банковском счету нельзя трогать, если дочь соберётся замуж, это ей на свадьбу», – он обвёл цифру двести в кружок и зачеркнул. «Если будет аванс за литографии к Казакову» – он нарисовал домик с колоннами, – «их на три месяца в банк, чтоб хоть какие проценты на вклад пришли, а в сентябре на море в Испанию, когда августовские цены спадут», – как горбатый нос к подбородку скруглил линию, – «в это же время скидки на летние коллекции», – оперённая стрела нацелилась в небо; между двумя кривыми линиями Стравин изобразил кудрявый музыкальный ключ, а ниже улыбочку. Выше он нарисовал дуб, по сторонам спинами друг к другу двух мужчин в широкополых шляпах, стоящих на коленях перед мольбертами. Листья опадали с вершины дуба купюрами. Представил, как с отцом летом на даче будут работать, и загадал, чтоб хоть что-то на будущей выставке ему удалось продать.

Пётр Игоревич встал, шагнул к огромному шкафу, который не объять руками, и резко раскрыл на себя створки. Тёмным строем, с редкими светлыми гражданскими, висели костюмы, следом радугой пиджаки, затем кардиганы, сначала крупной вязки, затем тонкие, затем брюки, затем светлым летним днём набор рубашек строгих, после рубашек поло, и у дальней стенки салют из галстуков на специальных вешалках. На полу шкафа стояли ящик с белыми носками, ящик с чёрными, ящик с носками в клетку, ящик с носками в полоску, ящик с ворохом разноцветных; дальше плоская коробка, выложенная квадратной плиткой отутю-

женных носовых платков. На длинной полке над костюмами и рубашками, как раскрашенные гуашью складки на пивном животе, лежали сложенные по двое разноцветные свитера.

Стравин определился, что одеться нужно свободно, без галстука, но нарядно. Решил, что нужны хорошие ботинки, брюки и кардиган или пиджак с рубашкой. «Шейный платок не повязывать ни в коем случае, треть будет в них». Зазвонил телефон.

Пётр Игоревич спокойно поговорил, отключил телефон, а после запрыгал вдоль шкафа, скидывая ноги и нахлёстывая рукой с телефоном невидимую лошадь. Иллюстрации к Казакову его, значит он сможет поехать на море, значит сможет полгода не думать о насущном заработке. О, как бы ему хотелось жить богатым! Как бы ему шло богатство! Личный шофёр в аэропорт, первым классом лететь к лучшим пейзажам. Он бы одевался на Bond Street и Avenue des Champs-Élysée, он жил бы за городом, у реки или озера. Он бы рисовал природу, зиму и позднюю осень – тушью и углём, осень – сангиной, весну пастельным карандашом, а потом всё бы переменял. У него была бы огромная застеклённая мастерская, как у Поленова, куда бы он уходил. О, можно было бы и гравёрный кабинет устроить и даже литографию в отельной пристройке.

Пётр Игоревич ещё походил по комнате, как лошадь, успокаивающаяся после галопа, иногда передёргивая плечами, словно в судороге усталых мышц. Потом остановился, опустился на колени перед иконой, стоявшей в углу на полочке и зашептал молитву, освещаясь крестным знаменем и в поклоне касаясь головой пола.

«В поте лица твоего будешь есть хлеб, и это верно», – сказал он себе, на коленях дошёл до кровати, из-под которой достал сборник Казакова. Он начал читать с рассказа «Во сне ты горько плакал», время от времени делая альбомные зарисовки, отчего альбомный лист стал походить на комикс.

Позвонили в дверь.

ГЛАВА 6

– Что ты всё время улыбаешься, помог бы лучше, чем галстуки примерять без конца, как девица красная честное слово!?! – жена опустилась на колени и пролезла рукой с тряпкой под шкаф.

– Да папа приходил, посмотрев альбом, который вы завезли ему.

– Что сказал, критиковал опять? – она тёрла под шкафом, он видел только её широкую попу обтянутую шёлковыми домашними штанами, с плывущими по голубой ткани соломенными джонками на фоне зелёного бамбука, привезёнными дочерью из Китая.

– Нет. Сказал: «Ну брат, ты», – и расплакался...

Жена села на колени и посмотрела на него снизу-вверх.

Её муж смущённо улыбался, снова и снова пожимал плечами и медленно потирал ладони.

ГЛАВА 7

Накануне, когда глаза совсем устали, жена дочитала ему вслух рассказ «Голубое и зелёное», и сейчас, когда он проснулся очень рано, по будильнику, чтобы успеть сделать дневной урок, припечатанный внезапным пробуждением, рисунок остался.

Как же было ему хорошо стоять в трусах и майке, просто и легко переносить пришедшее на бумагу!

Но от этой лёгкости не осталось ничего, когда он стал смотреть свои наброски к рассказу «Трали-вали». Он изучал пол, застланный рисованным ковром. Поразительно ни один эскиз не был плох. Но не один не был точным, как рисунок к «Голубому и зелёному». Он знал, что к камню необходимо подходить готовым, а тут на удивление в каждом этюде что-то жило, но собрать это всё в одну литографию было невозможно.

Утреннее солнце спряталось, небо затянули серые облака, заболела голова. Пётр Игоревич померил давление – оно было низким.

Он сидел на полу, снова и снова брал в руки эскизы, делал этюды, открывал рассказ, читал финал и ничего не нравилось ему из сделанного.

Стравин взглянул на часы – времени оставалось ещё много, но он одел тщательно подобранный совместно с женой наряд, лёг на диван и включил четвёртую часть шестой симфонии Чайковского.

Через какое-то время он закрыл глаза, но не удержал слёзы.

Шагая под морозящим дождём, Пётр Игоревич размышлял, что голая основа бытия, очищенная от ежедневного, уютного, она в страдании и в смирении перед его неизбежностью. И тогда вдруг, так что он даже остановился, пришло, что нужно так и писать Егора из «Трали-вали»! Не описывать его как тип могучей русской силы, не пытаться изобразить его любовь к песне, к Алёнке, или искать в образе сочетание бесконечного таланта и безграничной лени. Нет! Написать, что бакенщик Егорка, этот простой мужик, любитель выпить, он настоящий поэт, он чувствует большим и нежным сердцем, так же как и он, Стравин, что основа в страдании, и, как он, смиряется, принимая его.

ГЛАВА 8

К ресторану у художественного училища Пётр Игоревич подходил спокойным, измождённым и голодным, но от близкого автомобильного гудка испуганно передёрнул плечами. Через открытое окно красивая женщина помахала ему рукой со множеством браслетов на запястье:

– Подвезти?

Он сел в машину, изнутри похожую на элегантные в простоте, но роскошные женские часики. Подумалось, что этот автомобиль стоит больше, чем все его заработки за несколько лет. Стравин не сразу её узнал, так хорошо она выглядела, но сейчас вспомнил, что зовут её Инна, училась она на два курса младше и ещё студенткой работала в прикладной области, тогда над оформлением выставок. Она рассказывала, что возглавляет рекламно-информационное направление в компании по продаже легковых автомобилей.

Вместе они подошли ко входу в ресторан. Перед несколькими людьми стоял ректор, худой высокий старик с абсолютно лысой крупной головой, светящейся в вечерющем воздухе, как лампочка. Встретившись с Петром Игоревичем глазами, ректор нахмурил седые брови, Стравин в ответ чуть кивнул головой. Перед Петром Игоревичем вырос Карандышев, который занял его место преподавателя на кафедре академического рисунка. Они пожали руки. Стравин поднимался по лестнице в ресторан, а его настигал зычный голос Карандышева:

– День рождения академии праздник для всех нас, но в первую очередь это ваш праздник, драгоценный наш учитель! Разрешите преподнести вам скромный дар в благодарность за годы учёбы, и за нынешние годы, плодотворные и счастливые годы совместного труда!

Люди в зале ходили и сидели за круглыми столиками, переделанными белыми скатертями до пола в стаканы. Вдоль стен стояли столы с закусками и напитками. К Петру Игоревичу сразу же подошли две девушки, которым ещё в прошлом году он, а не Карандышев, преподавал рисунок. Они говорили, как рады его видеть, как используют его советы. Он интересовался, где они устроились, удаётся ли им реализовать себя. Окружённый свитой вошёл ректор. Заглушив шум запищал микрофон, все обернулись туда, где над головами блеснул, как бильярдный шар, лысый череп. Властный сильный голос поприветствовал собравшихся, поблагодарил спонсоров, призвал гостей общаться друг с другом, с преподавательским составом, отдельно отметил несколько молодых успешных выпускников, в том числе Линдта, отдельно сказал о звёздах, в том числе особенно тепло о Николае.

Со стаканом вишнёвого сока Пётр Игоревич бродил среди сидевших и стоявших коллег. Больше всего он был рад видеть своих бывших учеников, узнать, что изменилось у них в жизни. С удовольствием переговорил с преподавателями факультета скульптуры. Они спрашивали, есть ли работа, узнав о возможной выставке, просили известить их. Ему казалось, скульпторы были искренне заинтересованы и действительно собирались прийти. Осторожно сообщили, что Карандышев и остальные справляются с преподаванием, хоть и без его, Стравина, блеска. Спрашивали, не разговаривал ли он с ректором. Пётр Игоревич ответил, что их позиции давно и решительно определились. Ему высказали, как общее мнение, что конечно его принципиальность делает ему честь, но только от неё ни студентам, ни училищу, да, наверно, ему самому, лучше не стало.

В зале становилось всё шумнее, звучали громче переполненные алкоголем голоса, воздух скисал, пропитанный дыханием людей и табачным дымом. Стравин думал, что ему точно не стало лучше. Тогда он был уверен в зарплате, которая позволяла существовать, и у него была радость преподавания, счастье чувствовать себя проводником, через который тысячелетия художественной мысли входят в будущее.

– Ты что здесь один? – перед ним стоял Лазарь, тот, кто так удачно продал свою концептуальную столовую за 200 тысяч долларов, сразу вспомнил и позавидовал Стравин, – пошли к нам.

За столом, заполненном бутылками вина, виски и бокалами сидели Майя и Николай. Николай был в белоснежной рубашке с расстёгнутым на одну пуговицу воротом, тёмно-синем в тонкую зеленую клетку пиджаке такой тонкой шерсти, так хорошо сидевшим по фигуре, что Стравин сразу представил его на себе. Рядом с Николаем стоял низенький толстый человек в седеющей гриве чёрных волос, с длинной бородой с проседью, в серой некрашеной льняной толстовке, подпоясанной красной верёвкой, и говорил Николаю:

– Давай, брат, замолви словечко, как русский художник русскому художнику. Твоё слово по-настоящему весомо в искусстве, ты гений, настоящий гений, а мы уж за тобой будем тянуться.

Николай обещал поговорить, принял визитку в золотых завитушках хохломской росписи и, отвернувшись к Петру Игоревичу, протянул ему с улыбкой руку:

– Как поживаешь? Всё так же с хлеба на водичку перебиваешься? Наслышан, как наш ректор любимый попер тебя из родных стен.

Пётр Игоревич отвечал, что не сошлись во взглядах на обучение студентов.

Николай покровительственным тоном начал рассказывать, что следует сделать себе имя, после чего все ректоры смотрят снизу-вверх, «ведь ты его реклама, ты спонсор его зарплаты». Ставил в пример Лазаря, который так громко выступил со своей концептуальной «Сельской столовой». Николая прервали двое молодых людей, державшихся за руки, подошедших за автографом. Воспользовавшись паузой Лазарь стал рассказывать Майе, что у него несколько очень хороших заказов от частных лиц, один почти готов и будет выставлен в галерее современного искусства. Майя слушала его, попивая вино и выпуская сигаретный дым над собой. Николай вернулся в разговор, узнал, что у Стравина, в отличие от Лазаря, ничего не продаётся, стал объяснять, сначала выпив половину бокала виски, что надо имя создавать, продаётся имя. Конечно нужно не средневековыми гравюрами заниматься, а идти в массы с арт-объектами, такими же массивными, как толпа, которая к ним приходит. Говорил, что если работаешь с таким огромным объёмом как толпа, то давать необходимо столь же большое, соответствующее ей. Раньше был один заказчик – герцог, король, папа римский, делалось для него. Сейчас заказчик огромен, ему нужно соответствовать. Говорил, что Стравин может быть лучшим в рисунке всех времён, поправляясь, глядя на Майю, что лично он так не считает, но даже будучи лучшим, он уже ничего не значит, потому что время рисунка прошло. На рисунке не сделать имя, а значит, не оставить след, который, если можно верить фантазиям, хоть кто-то когда-то сможет заметить. Лазарь соглашался, рассказывая, что как только прозвучало его имя, появилось всё разом, – заказы, зрители, спонсоры, а раньше, до явления феномена имени, никто не обращал внимания на то, что сейчас скупают.

Стравин допил сок. От того, что он встал раньше, чтобы выполнить дневной урок, клонило в сон, голова из-за атмосферного давления болела и становилась всё тяжелее в прокуренном спёртом воздухе. Выждав, когда Николай занялся раскуриванием толстой папиросы, а Лазарь подливал Майе вино, Пётр Игоревич тепло со всеми попрощался и пошёл домой.

– Он так себя ведёт, словно знает что-то, чего мы не знаем.

– Да! Просто вызывающе! Вежливо, но возмутительно нагло хочет показать, будто выше нас! Хотя сам ничего не добился!

– Знаете, – печально сказала Майя, бросила в бокал с вином тонкую сигарету докуренную только до половины, посмотрела на Николая, – достала у него из пачки солдатскую папиросу без фильтра, прикурила от предупредительно зажжённого Николаем огонька, который придвинул свой стул следом за огоньком и осторожно положил свободную руку ей на плечо, а после медленно прогладил по спине вниз, и остался так сидеть, краснея лицом и глядя на Майю,

которая, словно ничего и не заметив, выпустила густой дым, и повторила, – знаете, в музее мы готовим выставку графики: Рембрандт, Гойя et cetera.

– Ну как же, «Европейская графика 17—19 веков». Отличная, анонсированы одни шедевры, – сказал грустным голосом Лазарь, допил вино из бокала, налил в него виски, стараясь не смотреть на Майю и на руку Николая.

– Так вот, там из разных музеев приехали хранители, и наши конечно, а у меня с собой альбом офортов Стравина. Так вот, когда они увидели их, то все как один побросали охраняемые шедевры и смотрели, смотрели и всё спрашивали, а кто это, кто это, а потом один старик из Британского музея так отчетливо громко сказал:

– It`s as good as Rembrandt`s and Rubens`.

– И что же ты ответила, – с улыбочкой спросил Николай, придвинувшись ещё ближе к Майе и положив свободную руку ей на бедро.

– А то, собственно, с чем никто и не стал спорить:

– Yes.

Возвращение

В детстве каждое лето мы снимали дачу в Подмосковье. Дачный посёлок у железнодорожной станции с тех пор сохранился в памяти набором чётких открыток, некоторые из которых приходили в движение.

Мама, с красным лицом в капельках пота, в пышной завитой причёске русых волос, шла по песчаной дорожке между гряд клубники, несла по тяжёлой сумке с долгожданными вкусностями.

На горе серого песка в колючих блиндажах из хвойных веточек, в окопах и норах укрыты тёмно-зелёные танки и пушки, – я и кто-то рядом, набрав в левую горсть камешков, расстреливаем вражескую оборону. Брызгами взлетает песок, а от прямых попаданий пластом оседает на блиндажи.

Открылись глаза. На красных занавесках гномики в синих штанишках и курточках, остроконечных колпаках, что сложились назад под апельсиновой тяжестью помпонов, в апельсиновых гольфах и чёрных курносых ботинках с серебряными пряжками. Один гном тащит сгорбившись вязанку хвороста, другой, стоя на колене, занёс молоток над невидимым гвоздём, третий бросает за спину лопатой землю, четвёртый катит пустую тачку. Красная ткань и синие с оранжевым фигурки гномиков пропитаны светом, и кажется, за окном удивительно и хочется туда. Приподнимаю голову, – щека и ухо припотели к вытянутой по кровати руке, и кожа руки не сразу отпускает их, мгновение ещё держит, оттягивает кончик уха. Сажусь в кровати. В комнате сумрак и душно. Из-за закрытой двери слышу неразборчивый разговор, – говорят тихо, чтобы меня не разбудить, а я уже не сплю, это смешно, я улыбаюсь и решаю выбежать к ним с криком и напугать.

Выбегаю из-за угла последнего дома; за канавой поросшей травой несколько сосен на песчаной подушке осьминогом схватили песок. Песчаный островок огибает, раздваиваясь, тропинка. Слева высокая трава и лес, впереди футбольное поле, ворота из жердей без сетки, в рамке на вытоптанном пятачке уже бегают за мячом ребята, – не успел к началу, – глаза за мгновение наполняются слезами.

После дождя сыро и прохладно. В ночном небе просвечена фонарём крона березы. Шевелятся косы ветвей, воняет клопами, глухо падают с листа на лист тяжёлые дождевые капли, и сухо, почти неслышно, по одному осыпаются клопы.

Вставляю ногу в кожаной сандалиии (коричневой, плетёной в решётку из узких ремешков) между воронёных прутьев калитки, другой ногой толкаюсь, и под скрип петель выезжаю со двора на улицу. Улица пустынная, земляная дорога мокрая и скользкая, блестит на солнце, как кожаная спина дельфина. В конце улицы, за огромной мутной лужей, лежат посреди дороги, как сфинксы, чёрная и рыжая дворняги, Валет и Зойка. Пахнет горьким дымом, кто-то жжёт листья. Все уехали, а меня заберут только завтра.

Скучно.

В последние годы я шёл по жизни через череду забот и развлечений, события влекли меня, не требуя решений, и я жил, не в силах остановиться и почувствовать своё место в жизни. Но иногда вспоминался подмосковный посёлок, пустынная платформа с домиком-кассой и зелёными скамьями, и тогда хотелось приехать туда одному, чтобы вновь пережить детство, чтобы успокоиться и понять себя.

Но время шло. Проходило лето, затем осень, завершался год. Вновь наступала весна и вновь проходило длинное лето вдали от моего детства. Но с каждым прожитым годом желание вернуться в прошлое становилось сильнее. Однако и в этом году лето прошло в семейных заботах о сыновьях, осень в работе и путешествии по другим, увлекательным, но незначимым для моей жизни местам. Только в декабре взял отгул и решил на путешествие в детство.

Ехать зимой было бессмысленно. Я и осенью не прожил там ни дня, возвращался в город; в детский сад, в начальную школу. Зимой же, это было очевидно, моё детство уже облетело листвой с голых деревьев, похоронено под сугробами снега, замерло в бездушном воздухе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.